

Парадокс существования после Холокоста. Эссеистика Петра Матывецкого

Аннотация:

Статья посвящена раннему эссе Петра Матывецкого «Межевой камень» (1994). Автор, выдающийся поэт и эссеист, пытается справиться с травмой собственной биографии (зачатый в варшавском гетто, он родился за его стенами и чудом уцелел) и памятью о судьбе европейских евреев, обреченных на смерть во время Второй мировой войны. Матывецкий первым в Польше создал книгу о Холокосте, порожденную глубокой верой в парадоксальность этого шага, в невозможность описать полное уничтожение и небытие. Он сам являлся частью этого парадокса: переживал его, существуя словно бы в кредит, в тени пустоты и пепла.

Ключевые слова:

Холокост, Вторая мировая война, эссе, память, биография, история.

Grażyna BORKOWSKA
(Warsaw)

A Paradox of Existence After the Holocaust. Piotr Matywiecki and his essay

Abstract:

The article concerns an early essay by Piotr Matywiecki entitled «Kamień graniczny» [The Boundary Stone], 1994. The author, an outstanding poet and essayist, wrestles with the ghouls and spectres of his own biography (conceived in the Warsaw Ghetto, he was miraculously saved) and with the memory of the fate of European Jewry condemned to death during the Second World War. Matywiecki was probably the first Polish intellectual to embark on writing a book on the Holocaust while being deeply convinced of the paradoxical character of his action — the impossibility of describing a complete destruction, annihilation, and nothingness. He was part of the paradox himself: he experienced it, living (as it were) on credit, in the shadow of emptiness, cinders and ashes.

Keywords:

Holocaust, the Second World War, essay, memory, biography, history.

Краткая биографическая справка о Петре Матывецком в «Словаре современных польских писателей и исследователей литературы»¹ на редкость лаконична и безлична, как и подобает словарной статье. В ней сообщается, что поэт родился в Варшаве 5 июня 1943 г., что из двоих его родителей, Анастázия и Марии, войну пережила только мать*; что он посещал два известных варшавских лицея — имени Домбровского и имени Чацкого, что изучал польскую филологию в Варшавском университете и был активным деятелем тамошнего кружка полонистов (секция поэзии), но вуз не закончил, прервав обучение в 1968 г. Тогда же начал работать в библиотеке Варшавского университета. Спустя два года женился на Эве Шары, сотруднице Института литературных исследований Польской Академии наук (всё это важно, всё играет роль в биографии поэта). Матывецкий писал стихи, со временем примкнул к «Солидарности», печатался в подпольной прессе — изданиях «Повсцёнгливосць и праца» («Умеренность и труд»), «Везване» («Вызов»), «Бюлетын „Солидарносци”» («Бюллетень „Солидарности”»), а позднее в литературной периодике III Речи Посполитой — «Тыгодник литерацки» («Литературный еженедельник») и «Потоп». Является членом и активистом Объединения польских писателей (SPP), а также Польского ПЕН-клуба. Живет в Варшаве.

Хотя эта биографическая справка вполне удовлетворяет критериям библиографической добросовестности, но, когда читаешь ее сегодня, ровно двадцать лет спустя после момента публикации, она производит впечатление слишком бледной, скромной, неполной. И не потому, что Матывецкий за это время издал несколько новых сборников стихов и эссе, и не потому, что в ходе многочисленных встреч в самых разных уголках Польши сумел завоевать доверие читателя, к которому относится серьезно, а также не потому, что те посвященные литературе радиопередачи, которые много лет вел Матывецкий, конечно же, наверняка обратили на себя внимание определенного круга слушателей — круга широкого, но все же ограниченного, поскольку требовали от аудитории определенной подготовки. Ведь дело не в поддающихся измерению параметрах признания, которые

* Отец Матывецкого — юрист, общественный деятель и поэт, во время Второй мировой войны сражался в вооруженном подполье и погиб во время Варшавского восстания 1944 г. (прим. пер.)

определяются категориями прироста, приумножения творческих достижений и т.д. Изменения носят более глубокий и принципиальный характер. Очередные свершения оказались решающими для очерчивания главной линии развития всего творчества Матывецкого, его стержневой основы, основополагающего пути, значимой дороги. Сегодня по-прежнему невозможно соединить воедино все ее точки, и — к счастью — отсутствует единая, охватывающая все творчество Матывецкого, формула интерпретации, однако мы знаем достаточно многое и достаточно твердо, чтобы признать: в данном случае и роль поэта, и потребность писать, и сомнения, сопутствующие этой потребности, и неловкость ситуации высказывания, и императив, подталкивающий к этому акту, — уходят корнями в биографический (экзистенциальный, духовный) опыт Холокоста. В парадокс существования после Холокоста. В то, что кажется невозможным по определению, — жизнь после жизни, жизнь после смерти. Однако невозможное стало реальным фактом. Ребенок, родившийся после смерти еврейского сообщества, живет и размышляет о своей экзистенции, ищет то, что дополнительно ее санкционирует. Я говорю «санкционировать», — но что это должна быть за санкция [обратим внимание на этимологию самого слова — оно происходит от латинского *sancire*, означающего в равной мере «освящать» и «наказывать»]? Может ли поразительное существование, существование после существования свершиться без Божьей воли, которая дарит избраннику полную страдания жизнь и налагает на него бремя? Эссе Матывецкого «Межевой камень», анализу которого посвящена данная статья, включает в себе теологию спасения, и она, точно так же, как все прочие контексты, затрагиваемые этим писателем, ведет к самоотрицанию, которое однако не тождественно простому игнорированию или дистанцированию от вопросов, связанных с Богом.

В вышеупомянутой биографической справке отсутствуют потрясающие подробности, которые освещают (хотя здесь, пожалуй, более уместна была бы лексема с совершенно другим корнем — «затемняют») биографию поэта: зачатый в гетто, родившийся вне его стен, где-то в тайном убежище на арийской стороне, от отца-еврея и матери-еврейки, он является стопроцентным евреем, причем не только согласно Нюрнбергским законам. Вот как излагает начало своей биографии сам автор: «Зачатый в гетто, я родился за его пределами. Я не был в гетто, но оно лишило меня мужества жизни, которое пред-

ставляет собой смесь страха и доверия. Нет ни испуганных вопросов, ни убедительных ответов, не о чем говорить, нечем жить»² (С. 65). Божественная санкция или какой-либо иной смысл выживания призваны уравновесить стыд. Стыд спасшегося. Выжил — зачем? Имеет ли он право отождествлять себя с уничтоженным сообществом? Ведь он не является даже свидетелем Холокоста. Однако невзирая на это, чувствует себя призванным (обязанным) писать о нем. И одновременно отдает себе отчет в принципиальной невозможности справиться с этой задачей. Многократно поднимавшаяся исследователями проблема невыразимости литературы о Холокосте встает в эссе Матывецкого с сокрушительной силой. Словно волна, которая стремительно мчит свои воды и сметает на своем пути все препятствия. Уничтожает повествование, логику и стройную конструкцию умозаключений, течение мысли, законы жанра. Эссе Матывецкого цепляется за интеллигентность, умопостигаемость, словно тонущий — за борт судна или брошенный канат. Оно борется со стихией (распада, непонимания) и на каждом шагу вплотную соприкасается с угрозой пойти на дно.

Драматизм этих борений вызван двумя причинами: во-первых, их опережающим эпоху новаторством в области польской литературы, связанной с Холокостом; во-вторых — их радикализмом. Сегодня снова звучит тезис о невыразимости Холокоста — звучит как общее место, банальность которого усугубляется беспомощностью пишущих о Холокосте (будь то тексты научные или художественные). Невыразимость зачастую оказывается попросту маской, скрывающей авторское неумение, или же уловкой повествователя; поэтому в последнее время исследователи и критики выступают против этой метафоры и аргументирующего ее ханжеского лицемерия. Однако в начале 1990-х гг., когда Матывецкий писал свою книгу, проблема невыразимости, понимаемой как отсутствие языка, способного описать Холокост, еще не осознавалась. В Польше на эту перспективу мышления заставил обратить внимание именно Матывецкий, показав, что дело здесь не в одной лишь недостаточности интеллектуальных и художественных принципов, но прежде всего в этических мотивациях. Я не могу писать о том, что не поддается пониманию, ускользает от законов разума, о том, чего я понять не в состоянии и не должен. Не существует адекватного языка, способного описать небытие. Окончательное и бесповоротное — тьму, что темнее ночи. Писать об этом я не могу, но вместе с тем должен, обязан это делать, перебары-

вая такую невозможность и собственный стыд Выжившего. Почему я? Достаточно того, что я знаю, — так пишет Матывецкий, безмолвно отсылая к позиции французского этического философа литовско-еврейского происхождения Эммануэля Левинаса: «Достаточно дорефлексивного фундамента любой этики, постулирующего, что если я узнал о чем-либо страдании, оно касается также и меня» (С. 17).

Радикальность убеждения в том, что Холокост — явление уникальное, а также в том, что отсутствует этически корректный и соответствующий опыту способ повествования о нем, заставила развернуться перед автором пропасть (исканий, попыток). Требовалось каким-то образом разрешить этот парадокс: как писать без возможности писать, как писать то, что описать невозможно, как писать о небытии (из небытия), как не писать, но суметь оставить след. Кстати, необязательно собственный, авторский — в значении «субъективный». Выживший, который пишет о Холокосте, а следовательно тот, кто, собственно говоря, жить не должен, однако живет, кто тянется к небытию, к описанию невозможного НИЧТО, — располагает голосом, опровергаемым вдвойне, поразительным и подозрительно мистифицированным: «Применительно к Холокосту нельзя быть Иовом собственного существования — ты являешься Иовом бытия» (С. 25). Но вместе с тем у автора остается — и дает о себе знать — убежденность в нереальности собственной жизни: «Граница моего надела — между гетто и мной. Пустой промежуток. Причем я не знаю и никогда не буду знать, существую ли я в этих границах или же вне их?» (С. 69).

К поискам языка, способного попытаться хотя бы отчасти справиться с задачей написания текста о гетто и Холокосте, Матывецкий приступил очень рано, за десять с лишним лет до публикации рассматриваемого эссе: «Я сделал эту запись 23 V 1980 г.: Документальная проза о варшавском гетто. Требуется найти такой стиль цитирования документов (дневников, писем, воспоминаний, объявлений — но также и рефлексий, сформулированных постфактум, задним числом), чтобы воздать должное их серьезности, комизму, трагичности, трагикомичности либо пафосу, неловкому и подлинному. Этот стиль должен обеспечивать беспрецедентную, специфическую отстраненность по отношению к документам — отстраненность не ироническую, не историко-объективистскую, не эпически-художественную. Это должна быть отстраненность несуществования, атеологическая и агуманистическая: Их [тех, кого убили. — Г. Б.] нет, и ничто не в состоянии ни

обосновать, ни объяснить их несуществование, придать ему смысл. Стало быть, каждый из цитируемых документов должен быть окутан этой пустотой, этим отсутствием смысла. Необходимо создать библию этого абсурда — текст, который удержит на своих плечах абсурд Их несуществования как незалеченной раны человечества» (С. 29).

Это еще не все сложности — автор дополняет сказанное не менее значимым комментарием; однако пока удобства ради остановимся на приведенном выше тексте. О какой отстраненности идет речь? Как, какими способами, при помощи каких приемов она может быть воплощена? И что это могло бы изменить в интерпретации документов? Не подвергнутся ли они маргинализации, не окажется ли нивелирована их ценность? Как Матывецкий читал документы Холокоста? Я пытаюсь осмыслить рассуждения автора и понять его мысль. Действительно, историко-объективистский и художественно-эпический комментарий ставил бы знание о Холокосте в контекст мировой истории, относительно гладко вписывал бы его в поток исторических событий. Нивелировал беспрецедентный характер Холокоста, который для Матывецкого бесспорен (тем самым автор решительно заявляет о своей позиции в дискуссии о том, был ли Холокост единичным событием или же очередным эпизодом в истории геноцида). Ирония, в свою очередь, подрывала бы реальность Холокоста на уровне фактов или возможности их адекватного описания. Как мы знаем, Матывецкий лишь делает вид, что испытывает такого рода сомнения, поскольку ему, в сущности, чужды подозрительная двусмысленность иронии, надсознание субъекта, формалистские изыски. Писатель соглашается с Симоной Вейль в том, что осмысление массовой, нагой смерти представляет собой опыт небытия: «Это состояние крайнего и абсолютного унижения, которое является также условием перехода к истине. Это смерть души» (С. 147). Необходимо мысленно возвращаться к Холокосту, зная о небезопасности такого шага. О собственном положении, положении человека, двояко включенного в травму Холокоста, Матывецкий пишет так: «Теперь, в январе 1992 г., когда после десятилетних размышлений я пишу первую часть книги и когда последующие ее части уже написаны, я знаю, что сам по себе, в своем личном существовании являюсь одним из „цитируемых документов” — представляю собой „документ”, созданный постфактум, но относящийся к Холокосту. И я сам себя укутал пустотой Холокоста, ее бессмысленностью» (С. 29–30). Выстроенная и пережитая таким

образом отстраненность — своего рода отупение или своего рода транс (травматический транс), который позволяет думать и писать о Холокосте, но не дает возможности его приручить, понять, рационализировать.

Я задумываюсь над тем, нельзя ли эту затронутую Матывецким проблему отношения к документам Холокоста, к архивам — проблему, определяющую уникальность «Межевого камня», — объяснить как-то иначе. Такая дерзкая мысль пришла мне в голову после прочтения эссе Жака Деррида «Архивная лихорадка. (Фрейдистская печать)» в переводе Я. Момры (2017). В свое время я пробовала читать этот текст в версии то ли французской («Mal d'archive», 1995), то ли английской («Archive Fever», 1995 — здесь немаловажен соавторский вклад переводчика, Э. Преновитца), однако тогда это эссе казалось мне слишком абстрактным и во всех отношениях избыточным (в смысле количества сюжетных линий, слов, аргументации), умозрительным, чтобы не сказать — безумным. Сегодня очевидна конкретность этого текста, в целом он поддается пониманию и может быть поставлен в интертекстуальный контекст, в частности, соотнесен с эссе Матывецкого (обратим внимание, что оба эти произведения оказались опубликованы почти одновременно, хотя, разумеется, написаны абсолютно независимо друг от друга, и эта синхронизация в плане времени и способа повествования, равно как и признания обоих авторов, что работе над текстом предшествовала длительная подготовка, — далеко не единственные и даже не самые важные из аналогий*). Впрочем, подобные трудности я испытывала и с «Межевым камнем». Я долго не осознавала значимости эссе Матывецкого, его уровня и масштаба. Оно казалось мне — несмотря на многочисленные авторские оговорки и пояснения, а также на то, что я знала о Матывецком и его биографии — слишком фрагментарным, слишком абстрактным и умозрительным, чтобы не сказать — безумным. Сегодня тексты Деррида и Матывецкого, поставленные рядом и читаемые параллельно, взаимно проясняют друг друга. Один проливает свет на другой, хотя сами они все время прячутся в тени (или же — выразимся иначе — в ослепительном сиянии других произведений).

* Деррида — также из Выживших: будучи алжирским сефардом, он подростком провел военные годы в этой французской колонии, находившейся в тот период под управлением фашистского режима Виши (*прим. пер.*).

О чем говорит Деррида? Выдернем из богатой ткани его текста одну-единственную нить: данное эссе предостерегает от благоговейной веры в спасительную для памяти силу архива. Такая вера в документальные ресурсы — это потребность, но вместе с тем и болезнь (польский перевод названия эссе представляет собой кальку английской версии, одобренной автором, однако несовершенной и ущербной по сравнению с оригиналом, где речь идет и о спасительной, и о вредной одержимости идеей архивизации памяти, а, следовательно, не только о лихорадочной жажде познания ресурсов архива, но и о болезни). Вера в архивы иллюзорна. Согласно Деррида, архивы документируют скорее смерть, нежели жизнь. Они являются — в соответствии с этимологией самого слова (*arche*) — местом, дающим в равной мере начало и власть. Архив, состоящий из документов, одноразовых актов, единичных решений и следов индивидуальных биографий, подвергается архивизации, а следовательно включается в систему, кроме того, он подвергается размножению, повторению, копированию, мультиплицированию, технической и идеологической обработке. То есть, в конечном итоге — воздействию тех самых механизмов, которые контролируют нашу психическую жизнь: вытеснению и подавлению (аналогия между историей архивного дела и историей психоанализа, между местом памяти в истории евреев и психоанализом как еврейской наукой — один из многих затрагиваемых Деррида увлекательных мотивов, который я вынуждена здесь опустить). Ведь противостоит забвению не память, а... правосудие. Нелегко расшифровать этот загадочный тезис, который Деррида приводит вслед за историком иудаизма Йосефом Хаимом Йерушалми, а затем творчески развивает и комментирует. Не запертое в архивах знание и не подвергаемая всевозможным операциям память являются подлинной гарантией изменений. Ибо речь идет об изменении мира, а не одной только памяти, например, памяти о жертвах (Холокост является завуалированной предпосылкой рассуждений Деррида). Прошрое, даже если исследовать его максимально добросовестно, не принесет возрождения — на это способно лишь будущее. Деррида подчеркивает этимологию французского слова «будущее»: *la-venir* — «то, что наступит». Философ называет свою позицию и веру в подобное течение событий мессианскими. Именно такой она нам представляется — как ожидание очередного пришествия.

Матывецкий не углубляется в регионы великой ереси, но разделяет недоверие Деррида к архивам. В своем тексте он обращается к

десять или нескольким десяткам свидетельств о Холокосте. Среди них — классические публикации, прекрасно известные исследователям Холокоста, а возможно, и более широкой публике: дневники покончившего с собой главы юденрата варшавского гетто Адама Черняка и преподавателя частной еврейской школы, летописца последних месяцев еврейской Варшавы Абрама Левина, труды видного экономиста, автора трехтомной «Хроники лет войны и оккупации» Людвика Ландау и историка, педагога, автора «Заметок из варшавского гетто» и создателя архива этого гетто Эмануэля Рингельблюма (все они погибли в гетто). Наряду с ними — тексты более личного характера, стихотворения, письма, почтовые открытки, воспоминания, фотографии, а также завещательные распоряжения, школьные сочинения, медицинские бюллетени. Эти документы написаны на нескольких языках: польском, идише и иврите. Как Матывецкий поступает с фрагментами этих записей? Он цитирует их — а дальше? А дальше он снабжает их комментариями. Можно выделить три типа таких комментариев (иногда они используются одновременно — как двойное или тройное обрамление цитируемого свидетельства).

Во-первых, это дополнение-конфронтация. Матывецкий задается, например, вопросом — чем являлась и чем заканчивалась для еврея встреча с немцем, который, побуждаемый небезосновательными подозрениями, спрашивал: «Sind Sie Jude?» («Ты еврей»)? Такого рода дополнения относятся к историческим реалиям в восприятии обеих сторон — палача и жертвы.

Другая разновидность комментариев встречается, в частности, в небольшом разделе, озаглавленном «Плач». Матывецкий вслед за Рингельблюмом описывает повседневную картинку из жизни гетто: на улице (она названа — Кармелитская) появляется автомобиль, из него выскакивают немцы и жестоко избивают всех, кто попадает под руку. «Характерно, что люди плакали и захлебывались спазматическими рыданиями от одного лишь вида происходящего» (С. 210). Комментарий: «Поскольку я сам не *испытал* подобного плача, то могу о нем *знать*. Тот, кто его испытал и пережил, тот остается в нем до конца дней своих. Он не знает, не может знать, что плачет. Я встречал таких людей» (С. 210) (курсив мой. — Г. Б.) Это дополнение — эмотивное: оно касается того, как он, Матывецкий, осмысляет свою чуждость в роли комментатора; чуждость, представляющую собою дар судьбы и одновременно некий изъян, о котором всегда

следует помнить: кто испытал и выжил, не обязан ничего знать, ни о чем рассказывать, ничего искать. Он идеально тождественен своей боли. Матывецкий ссылается на слова Бродского: «человек, переживший трагедию, не осознает себя ее героем и мало заботится о средствах ее выражения, являясь таковым сам по себе»³ (С. 210). Повествование о прошлом мы конструируем для самих себя — уцелевших, потомков, а не для них, жертв. Мы строим эти конструкции при помощи разнообразных приемов и протезов; и все они являются подтверждением нашей отстраненности, а не эмпатии. Стоит помнить об этом, рассуждая об этических дилеммах, связанных с литературой о Холокосте.

И третий тип комментария: Матывецкий видит в газете «Новы Курьер Варшавски» за 28 ноября 1939 г. фотоснимок, на котором евреям обрезают бороды. Жертвы прикрывают унижение усмешкой, а садисты-палачи громко хохочут, притворяясь, будто все это не более чем игра. Матывецкий: «В пространстве между одними и другими — нечто вроде „соглашения” об улыбках с целью объединения чем-то *общим* жестокости и унижения. Чем-то *общечеловеческим* — невзирая на этого садиста и невзирая на эту жертву с газетного снимка. Если это „общечеловеческое” неизбежно присутствует и в моем взгляде, то пусть я лучше ослепну. Нельзя воспроизводить подобные фотографии» (С. 211). Это фото, сопровождаемое издевательской заметкой подонка-журналиста, отмечавшего якобы добровольное массовое посещение евреями парикмахерских, где их избавляют от бород, никак не воспроизводит ужас ситуации. Оно лживо, в том числе по той причине, что сами жертвы подхватили «шутливую» трактовку ситуации. Матывецкий не хочет смотреть на это, чтобы не выглядеть тем, кто поддался на подобную уловку. Более того, он считает, что такой снимок не должен воспроизводиться, дабы не наращивать вокруг себя нравственный хаос. Данная разновидность комментария образует этическое запретительное дополнение и выступает в роли громогласного: *prohibeo* («запрещаю»). Оно устанавливает границы фактологических разысканий. И устанавливает еще кое-что: границы снисходительности по отношению к жертвам, солидарности с ними.

Эмпатическая исходная точка, по поводу границ и условий которой (уместно ли это, могу ли я, справлюсь ли) Матывецкий постоянно торгуется с самим собой, с читателем, с историей, сопряжена с опре-

деленным уровнем требований по отношению к жертвам. Палачам он никаких требований не предъявляет, а вот жертвам — да. Его этическое, запретительное дополнение адресовано зачастую именно им. Это не свидетельство жестокости, не перебор — это выражение любви. 28 февраля 1941 г. Рингельблум записал, что в кондитерских и кафе (которые тогда еще имелись в гетто) стоят женщины, которые за 10–20 грошей предлагают напрокат повязки со звездой Давида (повязки эти под угрозой смерти были обязаны носить евреи). Матывецкий желчно комментирует эту информацию: «И вот мы превращаемся в коллекционеров многочисленных разновидностей артефактов Холокоста. Убийцы и жертвы вроде бы любезно, желая удовлетворить нашу страсть к коллекционированию, множат их типы и классификации. В гетто имелось несколько десятков разновидностей еврейских повязок — для всевозможных чиновничьих и общественных служб. Быть может, кто-то захотел таким способом внести суррогат индивидуализма в анонимную массу» (С. 217). И, ссылаясь на дневник Левина*, добавляет с исполненной бешенства иронией: немцы выдрессировали бульдога, чтобы бросался на людей с повязками; таким образом те обрели «однозначную функциональность» (С. 217). Матывецкий испытывает боль оттого, что евреи позволили втянуть себя в позорную игру видимостей, которую вели немцы. Не только женщины, торгующие повязками, — вся многократно критикованная писателем самоорганизация гетто являлась выражением ошибочного, по мнению Матывецкого, решения: пока это возможно, все же сотрудничать с немцами. Не меньше корбит Матывецкого параллельная той деятельность современных исследователей и комментаторов (свидетельств) Холокоста. Писатель не уточняет, что конкретно он имеет в виду — чрезмерную интеллектуализированность, мелочную детализацию, объективистский тон или художественные эксперименты: «Напяливая на нашу жизнь „повязки” понятий, которые маркируют смерть обитателей гетто, мы „торгуем” повязками и устанавливаем как саму конвертируемость жизни и смерти, так и обратный курс — безотчетно, подобно тому, как делали это они там, в гетто» (С. 217).

* Этот дневник был переведен в США на английский язык и опубликован через несколько лет после окончания войны под названием «Чаша слез» («The Cup of Tears»), которое получило затем широкое использование, в том числе и в России (прим. пер.)

Представляется, что Матывецкий хочет сказать пишущим о Холокосте следующее: не стоит лезть со своим повествованием на первый план, давайте отступим, сделаем шаг назад. «Меньше» означает в данном случае — «лучше». Организуем наше повествование таким образом, чтобы свидетельства заговорили сами, словно библейские камни, которые возопиют, если все умолкнут (Лук. 19:40). К этой метафоре восходит и название книги Матывецкого. Окруженный пустотой и отсутствием смысла, повествователь/автор (вспомним определения Матывецкого) берет на себя функции камня, межевого камня, пребывающего в том несуществующем пространстве, которое отделяет его от гетто. Матывецкий, правда, *говорит*, пользуется языком, но повествование свое строит особым способом, превращая его в комментарий к свидетельствам, грань их специфической репрезентации, а также признание собственной несостоятельности и потерянности. Я ощущаю эту скованность автора — всем телом, словно петлю на шее.

Перевод А. Нехая, И. Адельгейм

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Opracował zespół pod redakcją J. Czachowskiej i A. Szałagan. Tom V: L — M. Warszawa, 1997.
- ² Здесь и далее «Межевой камень» с указанием страниц в круглых скобках цитируется по изданию: *Matywiecki P. Kamień graniczny*. Warszawa, 1994.
- ³ *Бродский И. Поэзия как форма сопротивления реальности* // *Бродский И. Собрание сочинений в 7 т.* СПб., 1997. Т. VII. URL: <https://public.wikireading.ru/53774> (дата обращения: 22.11.2018).